

А Н О Н И М А



ХРОНИКИ ПРЕДСПОДНЕЙ

АНОНИМУС

АНОНИМУС

Хроники преисподней

«СОЮЗ»

2023

АНОНИМУС

Хроники преисподней / АНОНИМУС — «СОЮЗ»,
2023 — (АНОНИМУС)

ISBN 978-5-6048353-8-8

Старший следователь СК Орест Волин задерживает в аэропорту Москвы Михаила Капустина, которого подозревают в незаконном перемещении за границу алмазов. Тем временем исследователь истории спецслужб генерал Воронцов расшифровывает очередную книжку дневников Загорского. Она рассказывает о том, как в начале 1925 года сыщик столкнулся на вокзале с двенадцатилетним беспризорником Митькой Алсуфьевым, который оказался младшим сыном его друга, дворянина Федора Алсуфьева. Алсуфьев и его жена погибли, их младший сын Митька стал беспризорником, а старший, Арсений, как контрреволюционер попал в Соловецкий лагерь особого назначения. Загорский решает помочь сыновьям своего давнего знакомого.

ISBN 978-5-6048353-8-8

© АНОНИМУС, 2023

© СОЮЗ, 2023

Содержание

Пролог. Старший следователь Волин	6
Глава первая. Два дяденьки без топора	15
Глава вторая. Шулер и фармазон	24
Глава третья. Власть соловецкая	28
Конец ознакомительного фрагмента.	37

АНОНИМУС

Хроники преисподней



© текст АНОНИМУС
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»

* * *

Пролог. Старший следователь Волин

Инспектор службы безопасности славного аэропорта Шереметьево вид имел суровый и даже грозный, но в глаза Михаилу Юрьевичу смотреть явно не желал. Если бы Михаил Юрьевич интересовался подобными материями, он бы знал, что инспекторов нарочно учат не смотреть в глаза пассажирам, чтобы те на них как-нибудь не повлияли – например, не смогли загипнотизировать. Не то, чтобы инспекторы слишком боялись гипноза, но, как говорится, береженого Бог бережет.

Однако Михаил Юрьевич ничего не знал о гипнозе, поэтому и не беспокоился особенно. Не забеспокоился он и тогда, когда их с женой Ларисой чемоданы осмотрели с особым тщанием. Ничего плохого не пришло ему в голову даже когда его задержали на рентгене чуть дольше, чем ему бы того хотелось.

Нехорошее предчувствие появилось у него, только когда инспектор попросил пройти на личный досмотр.

– А что случилось? – заволновался Михаил Юрьевич.

– Ничего, стандартная процедура, – отвечал тот.

Михаил Юрьевич успокоился и, кивнув жене – мол, все в порядке, сейчас вернусь, – отправился следом за инспектором. За ними по пятам шел полицейский и невесть откуда взявшиеся понятия – две штуки, как и положено по закону. Если бы Михаил Юрьевич знал, что за ним следует не простой служитель порядка, а начальник линейного отдела полиции, вряд ли он был бы так же спокоен.

– Вы, наверное, из-за стомы¹ хотите меня досмотреть, – догадался Михаил Юрьевич. – Мне недавно операцию на кишечнике сделали, теперь вот, что называется, все мое ношу с собой. Но только уверяю вас, там я ничего не прятал, да это и невозможно.

Ни инспектор, ни полицейский, ни, подавно, понятия ничего не ответили на это двусмысленное заявление. Вся компания молча зашла в комнату для досмотра и дверь за ними закрылась. Спустя минуту рядом с закрывшейся дверью невесть откуда возник интересный собою шатен – старший следователь СК Орест Витальевич Волин. В саму комнату, однако, заходить он не стал, а лишь прислонился к стене, как бы охраняя выход на тот случай, если бы изнутри кто-то попытался с боем вырваться наружу. Кто и почему мог вырваться из комнаты для досмотра, было не совсем ясно, однако старший следователь заметно нервничал. Он даже вытащил из кармана пиджака пачку сигарет, но вспомнил, что в аэропорту курить запрещено и сердито запихнул сигареты обратно.

Минут через пятнадцать дверь распахнулась. Первым вышел полицейский. Посмотрел на Волина.

– Ну, что? – живо спросил старший следователь, отделяясь от стены.

– Ничего, – отвечал полицейский, разводя руками. – Чист как стеклышко ваш гражданин Капустин.

– А рентген? – спросил Волин. – Рентген что-нибудь показал?

Оказалось, что и рентген ничем не помог служителям Фемиды. Услышав это, старший следователь нахмурился. Ваш, сказал, рентген в данном случае и не мог ничего показать.

Такое замечание полицейскому не понравилось.

¹ Стома в хирургии – искусственное отверстие, создающее сообщение между полостью любого органа (например, кишечника) и окружающей средой. Если речь идет о кишечнике, стома обычно выходит в калоприемник, расположенный снаружи тела.

– Почему это не мог? – проговорил он несколько обиженно. – У вашего Капустина что – контрабанда прямо в желудке лежит? Наверняка есть контейнер для перевозки. И контейнер этот был бы виден на экране.

– Да в том-то и штука, что нет никакого контейнера, – с досадой отвечал Волин. – Ладно, что думаете делать дальше?

Офицер удивился: а что они могут сделать? Отпустят гражданина Капустина на все четыре стороны, пусть летит белым лебедем в свою Голландию или, правильнее сказать, в свои Нидерланды.

– Нельзя его отпускать, – старший следователь, обычно спокойный, как слон, явно встревожился.

– Нельзя там или можно, а придется, – отвечал полицейский. – Никаких законных оснований задерживать гражданина у нас нет.

– У вас, может, и нет, а у меня есть, – хмуро заметил Волин.

Полицейский пожал плечами: это пожалуйста, но действовать будете на свой страх и риск. Он хотел добавить что-то еще, но тут дверь снова открылась. Из комнаты вышли понятые, потом инспектор и, наконец, сам Михаил Юрьевич.

– Я свободен? – спросил он у инспектора. – Могу идти на посадку?

– Можете, – любезно отвечал тот и даже показал рукою, куда именно нужно идти.

Однако не тут-то было.

– Секундочку, – сказал Волин, припирая Михаила Юрьевича к стене и вытаскивая из кармана удостоверение Следственного комитета. – Гражданин Капустин, вы задержаны по подозрению в незаконном перемещении через границу драгоценных камней!

* * *

– Да ты совсем охренел?! – за всю свою жизнь Волин не видел полковника Щербакова в таком бешенстве. – Ты слышишь меня, майор?! Читай по губам: ах! ре! нел!

Полковник до такой степени вышел из себя, что вопреки русской грамматике выкрикивал слова по слогам, словно пьяный боцман на палубе перед матросами-новобранцами. Глаза его тарасились, как у краба, рот был похож на хищно оскаленную пасть мурены, а сам полковник больше всего смахивал на взбесившуюся акулу-людоеда. Буря, которую он поднял в кабинете, грозила разнести все вокруг и окончательно потопить проштрафившегося подчиненного.

Страшным усилием воли старший следователь отбросил военно-морские ассоциации и голосом тихим, но твердым попытался объяснить. Но полковник не желал прислушиваться к голосу разума.

– Мало того, что ты без законных оснований снял человека с рейса! Мало того, что не уведомил о своих действиях непосредственное начальство! Так ты еще предлагаешь взять и разрезать российского гражданина на части! Живьем!!

Тут Щербаков неожиданно умолк и посмотрел на подчиненного с укором.

– Слушай, майор, – сказал он почти негромко. – Мы, конечно, ведомство силовое и даже, можно сказать, карательное. Но не до такой же степени... Как ты можешь, а? Ты же был ребенком, мама у тебя была, папа, бабушка... Синиц кормил, котят гладил, старушек через дорогу переводил. Песни, наверное, пел. Стишки читал вслух – Пушкина, Лермонтова. «Когда был Ленин маленький с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной...» Вот это вот все – было же у тебя в жизни, было, признайся! А теперь чего? А?! Ты пойми, майор, в тебе сейчас не сотрудник Следственного комитета говорит. В тебе сейчас говорит какое-то, прости Господи, чикатило! Натуральное чикатило – и больше ничего. И ты мало того, что сам чикатилом стал, так еще и нас всех пытаешься чикатилами сделать...

И полковник снова умолк. В глазах его теперь плескалась одна только нечеловеческая печаль. Выждав из вежливости пару секунд, Волин начал защитительную речь.

Во-первых, ни на какие части никого резать он не предлагает. Нужно всего-навсего провести операцию и извлечь из подозреваемого возможную контрабанду.

– Возможную?! – возопил полковник. – Будем резать живого человека, чтобы извлечь возможную контрабанду?! Ты понимаешь, до чего мы так дойдем? Сперва будем извлекать возможную контрабанду, потом – ловить возможных преступников, затем – сажать возможных убийц! Так, по-твоему, должен работать Следственный комитет?

– Нет, не так, – твердо отвечал старший следователь. – И если вам, Геннадий Романович, не нравится «возможная контрабанда», заменим ее на «вероятную». Или даже на «очень вероятную».

Тут полковник опять раскричался. Из крика его выходило, что ни возможная, ни вероятная, ни даже очень вероятная контрабанда, его, Щербакова, не скребёт. Потому, что контрабанда – это вопрос таможенников, пусть они ее и изымают из всех возможных и невозможных мест. Какого хрена майор вообще полез в это мутное дело?

Вопрос был законный, и старшему следователю пришлось начать историю, что называется, от печки.

* * *

Любушку Кóпьеву Орест знал еще со школы. Она училась в параллельном классе, и была соседкой его бабушки по лестничной клетке.

Бабушка, Татьяна Алексеевна, Любушку обожала. Скромная, милая и отзывчивая, она производила на взрослых неотразимое впечатление. Чего совсем нельзя было сказать о сверстниках. Девчонки ее игнорировали, парни старались не замечать. И дело было не в отзывчивости, а в болезненной принципиальности Любушки. Обычно тихая и спокойная, она вспыхивала как спичка, если видела где-то непорядок или несправедливость. И тогда к ней лучше было не приближаться.

– Порвет, как Тузик грелку, – сообщил как-то Оресту его друг Вавилов, однажды ставший жертвой любушкиной принципиальности. – Держись подальше, целее будешь.

Что такого страшного сотворила с ним Любушка, а главное, за что, Вавилов не сказал, но ясно было, что дело не шуточное.

Бабушка, впрочем, ничего этого не знала, и обожала Любушку совершенно чистосердечно.

– Куда смотрят твои глаза? – выговаривала она внуку. – Погляди, какая девушка рядом ходит, не чета твоим шалавам!

Справедливости ради, никаких особенных шалав рядом с Орестом не наблюдалось: девчонки как девчонки, некоторые даже не курили. Однако из любви к бабушке он на всякий случай все-таки присмотрелся к Любушке. Но сколько ни присматривался, ничего нового не обнаружил. Губы там, нос, бедра, ноги – ничего выдающегося. Ну, может глаза необычные. Не в смысле красивые, а в смысле добрые и такие жалостливые, как будто при ней щенка придушили.

– Когда женщине говорят, что у нее добрые глаза или, например, пышные волосы, это значит, что ничего лестного о ней сказать нельзя, – объяснял Оресту дедушка Арик. – Поэтому никогда не говори девушке, что у нее красивые глаза, это оскорбительно. Хочешь сказать комплимент, говори, что она вся красивая – целиком, без изъятий. Но с комплиментами тоже будь осторожен. У девушек богатое воображение. Скажешь что-то из чистой любезности, а она вообразит бог знает что. Имей в виду, влюбленная девушка – это бомба страшнее ядерной. Если, конечно, влюбленность не взаимная.

Но все это казалось Оресту старческими разговорами, никак не связанными с реальной жизнью. На практике выходило, что Любушка ничего такого собой не представляла, а под горячую руку могла и навалить – пусть даже только словесно. Если так, то с какой же стати уделять ей особое внимание? Вот он и не уделял.

Жизнь тем временем шла своим чередом. Они закончили школу, Орест поступил в юридический, Любушка – в медучилище. Потом ее долго не было видно, кое-кто даже думал, что она умерла. Но на самом деле она не умерла, а просто уехала к мужу – что, согласитесь, не всегда одно и то же. Потом Любушка развелась, снова стала Кóпьевой и возвратилась в родительскую квартиру. Волин опять стал время от времени встречать ее во дворе и говорить «привет!», как в старые, школьные еще годы.

Хотелось бы, конечно, сказать, что со временем Любушка расцвела, сделалась интересной женщиной, и холостой Волин даже стал на нее заглядываться. Но, увы, ничего такого не случилось: Любушка не расцвела, осталась такой же, как и была в школе, только вместо первого размера лифчика стала носить третий, а глаза у нее сделались еще более жалостными, как будто на глазах ее душили теперь не одного щенка, а целый выводок. И так бы, наверное, он и ходил мимо нее до самой старости, если бы однажды вечером Любушка вдруг не остановила Волина прямо во дворе, где она сидела на скамейке, дожидаясь, пока старший следователь вернется с работы.

– Орик, ты ведь в Следственном комитете работаешь? – спросила Любушка. Вид у нее при этом был непривычный, то есть не жалостный, а озабоченный.

Ориком звала Ореста бабушка. Он был Орик, а дед был Арик, хотя на самом деле деда звали Аркадием.

– В Следственном комитете, – подтвердил Орест, с удивлением разглядывая озабоченную Любушку.

– А я в клинике, – сказала она, – старшей медсестрой.

– Круто, – кивнул Орест, и тут же слегка устыдился своей реакции, потому что ничего крутого не было в профессии медсестры – ну, разве что для эротических фильмов хорошо.

Но Любушка не снималась в фильмах и не стала размениваться на мелочи, уточняя, что круто, а что нет.

– У меня к тебе серьезное дело, – продолжала она, наморщив лоб. – Присядем?

Они присели на скамеечку и присели как-то неудачно, оказавшись слишком близко. Впрочем, Волин ничего не почувствовал, кроме легкого неудобства, а Любушка, кажется, не почувствовала и этого.

– Я тебе расскажу одну историю, а ты уж сам решай, что делать, – сказала она.

История оказалась действительно любопытной.

Некоторое время назад к ним в клинику пригласили работать одного хирурга, по фамилии, скажем, Конопатов. Он не был мировой знаменитостью, но был широко известен в узких кругах. В соцсетях он не отвечивал, но профессионалы его знали. Причем мнения о нем у разных людей сильно расходились – от гения до бездарности.

Так или иначе, доктор Конопатов начал работать в любушкиной клинике. Правда, перешел он с условием: вместе с ним приходит и вся его команда – от анестезиолога до медсестры. Условие, конечно, было немножко странным. Но сейчас вообще странное время: все сошли с ума на командах, таскают их за собой, как близких родственников.

– В принципе, понять это можно, – заметила Любушка. – Профессионалов почти не осталось, особенно среди тех, кто моложе пятидесяти.

Из этого короткого замечания Волин понял, что характер Кóпьевой ничуть не изменился, эта была все та же принципиальная девчонка, в которой доброта странным образом сочеталась с непримиримостью.

Так или иначе, с требованием Конопатова о переводе его людей согласились, тем более, что вакансий в клинике хватало.

Как уже говорилось, доктор, несмотря на свою известность, держался скромно, почти незаметно. Единственное, чего он терпеть не мог, так это обсуждения его персоны и особенно – профессиональной деятельности. Тут хирург взрывался, как петарда, и начинал искрить. Опять же, ничего удивительного: люди стали страшно самолюбивые и болезненно ранимые – куда ни плюнь, всюду у них травма.

Но совсем недавно случилась странная история. В клинику доставили пациента Капустина с обострением НЯК.

– НЯК? – удивился Волин. – Это что за зверь такой?

– Неспецифический язвенный колит, – объяснила Любушка. – Длительно текущее аутоиммунное воспалительное заболевание кишечника с весьма неприятными последствиями. Терапия есть, но степень эффективности для всех разная. Обычно лечат салюфальком, гормонами и так далее. При запущенности или осложнениях показана хирургия, вплоть до пересадки донорского кишечника.

Волин кивнул, не желая углубляться в неаппетитные детали, и Любушка продолжила.

Доктор Конопатов осмотрел прибывшего и рекомендовал хирургическое вмешательство. Насколько мог понять Волин, предлагалось отделить нижнюю, больную часть кишечника, идущую от ануса, от верхней части, связанной с желудком. Верхнюю часть кишечника в таких случаях выводят наружу, на боку устанавливают стому, в которую и выходят каловые массы. Больная же часть кишки просто подшивается к мышце в забрюшинном пространстве, и, освобожденная от нагрузок, как бы отдыхает. В этом случае лечение оказывается более эффективным. При благоприятном течении болезни через полгода пациента снова оперируют, кишку восстанавливают и стому убирают.

Может быть, Любушка объясняла это все как-то иначе, но старший следователь, не имевший медицинского образования, понял именно так.

Одним словом, Конопатов, ставший у Капустина лечащим врачом, рекомендовал ему операцию. На взгляд Любушки, сначала стоило попробовать консервативную терапию. Но хозяин, как говорится, барин, врачу виднее. Лишь бы потом клиент и родственники бучу не затеяли, в суд не пошли, в общем, чтобы не возникли проблемы.

Именно по этой причине Любушка, как старшая медсестра, решила проконтролировать процесс. Пока пациент понемногу приходил в себя, она еще раз внимательно изучила его карту. Выяснилась удивительная вещь – пациенту назначили иммунодепрессанты². Само по себе это не было чем-то странным. НЯК – болезнь аутоиммунная, бывает, что в процессе лечения назначают иммунодепрессанты. Однако их не прописывают после операции. Иммунодепрессанты после операции прописывают, когда есть риск отторжения чужеродной ткани. Но в случае Капустина ни о чем таком речи не шло, так что они были совершенно лишними. Не говоря уже о том, что могли повредить здоровью и без того ослабленного пациента.

Тогда чего ради подавлялся иммунитет?

С этим вопросом Любушка подошла к Конопатову. Тот, вместо объяснений забился в истерику, стал кричать, что он врач с двадцатилетним стажем, а ее дело, как старшей медсестры – следить за чистотой больничного белья и трудовой дисциплиной.

Ошарашенная Любушка отошла прочь и не стала даже жаловаться главврачу. Строго говоря, хирург был прав: не ее дело выбирать лекарства для пациента. Но Любушку удивила болезненная реакция врача. Наверное, она вскорости забыла бы об этом случае, если бы не встретила случайно жену Капустина. Оказалось, Конопатов дал им направление в голландскую клинику, где они и продолжают лечение.

² Иммунодепрессанты – препараты, применяемые для угнетения иммунитета.

Это удивило Любушку еще больше. Зачем было гнать уже прооперированного пациента в Голландию? Жена отвечала, что там есть специализированная клиника, случай ее мужа им интересен, поэтому они не только возьмут его на лечение, но и оплатят Капустину и его супруге билеты на самолет, а также проживание за границей.

Любушка знала, что НЯК – заболевание сложное и лечению поддается трудно. Однако случай Капустина не представлял собой ничего экзотического. С какой же стати голландцы вдруг ни с того, ни с сего раскошелятся на бесплатное лечение пациента, да еще и на проживание сопровождающего лица. Тут было явно что-то не то.

– А что? – спросил Волин. – Что именно, по-твоему, тут не то?

– Не знаю, – отвечала Любушка. – Ты же следовательно, ты и решай.

Волин только головой pokrutil. Он следовательно – он и решай. Да что тут решать, милые мои? За что ухватиться? Во всей истории только две странности. Первая – назначенное после операции подавление иммунитета. Вторая – бесплатное лечение за границей. Кому и зачем нужен за границей больной с подавленным иммунитетом, только что, между нами говоря, прошедший через хирургическую операцию... Что он за драгоценность такая, что надо его волочь за тысячи километров от родного дома?

На этом слове он как будто споткнулся. Драгоценность, говорите? Волин почувствовал, что в воздухе заструились флюиды – предвестники будущей удачи.

– Значит, нижнюю часть кишки пришивают к брюшному пространству? – задумчиво проговорил он. – А внутри она пустая – эта кишка?

Любушка отвечала, что кишка, разумеется, пустая, ее специально освобождают перед операцией от каловых масс...

Тут рассказ Волина перебил полковник Щербаков.

– Ну да, – сказал он саркастически. – Пустая кишка – просто находка. Это не задний проход контрабандой набить, туда ведь может заглянуть любой таможенник. Пустая кишка – это круто! Напихать в нее, например, наркотиков и провезти через границу, да? А про рентген ты слышал, майор? Рентген же все высветит!

– Это смотря что будет внутри, – отвечал Волин. – Если, например, алмазы, то может и не высветить.

– Откуда у него там алмазы? Он что, алмазный прииск содержит?

Разумеется, никакого прииска Капустин не содержал. И вообще, поговорив с ним, Волин понял, что пациента используют втемную. Иначе жена не стала бы рассказывать налево и направо, что они в Голландию едут. Ясно, что Капустин ничего не подозревает. Напротив, верит доктору и за границу собирался со спокойным сердцем. А вот доктор Конопатов...

– Что доктор? – перебил его полковник. – Ты еще и доктора хочешь за жабры взять? Доктора тоже резать будем?

Доктора резать старший следователь не предлагал. Однако с ним стоило поговорить поподробнее. Волин выяснил, что у Конопатова есть родственник, работающий начальником смены на алмазном прииске. То есть чисто гипотетически они с доктором могли наладить хищение алмазов. Оставалось только найти способ сбывать их на Запад. Полковник прав в том смысле, что в заднем проходе контрабанду теперь возят одни лохи. Если везти в желудке – видна будет оболочка. А вот если утрамбовать алмазы в кишку, притом, что на аэропортовском рентгене их не увидят – это выходит совсем другой коленкор. Сразу становится понятно, зачем Капустину прописали иммунодепрессанты – чтобы организм не отторгал камни, пока их не вытащат уже в Голландии.

Полковник сидел, нахмурясь. Ну, хорошо, предположим, все так, как говорит Волин. Вот перевезли они алмазы в Европу – и что дальше? Как их вытаскивать?

– Очень просто, – отвечал старший следователь. – На месте проводится еще одна операция, алмазы вынимаются, пациента отправляют домой.

– А если с ним что-нибудь случится по дороге? Не знаю там – кишка порвется или еще что?

– Риск, конечно, имеется, – отвечал Волин. – Но представьте, каков будет куш, если все получится? Товара на миллионы евро – есть, ради чего рисковать.

Полковник еще некоторое время помолчал, потом буркнул, что майор его почти убедил. Но все равно, просто так резать человека они не могут. Нужно быть на сто процентов уверенными, что алмазы в Капустине есть. Может Волин дать такую гарантию ему, полковнику?

– Увы, – сказал Волин. – Полную гарантию дает только страховой полис. Но здесь и он бессилен. В принципе, можно попробовать перенастроить рентгеновский аппарат. Но, во-первых, это все равно гарантии не даст. Во-вторых, это может быть опасно для здоровья Капустина.

– Так что же делать? – спросил Щербаков, глядя на Волина снизу вверх.

Старший следователь несколько секунд держал многозначительную паузу, потом сказал:

– Нужен алмаз, товарищ полковник.

– Какой еще алмаз? – не понял Щербаков.

– Лучше натуральный. Но на худой конец сойдет и искусственный...

* * *

Вид у доктора Конопатова был хмурый и какой-то неприязненный. На лице доктора было прямо написано, что пациенты надоели ему хуже горькой редьки. Казалось, будь его воля, он собрал бы всех людей вместе и заразил бы какой-нибудь опасной и неизлечимой болезнью, чтобы они уже, наконец, приказали долго жить и не лезли к нему со своими недомоганиями.

На Волина он даже не посмотрел, когда тот вошел в кабинет со своим «здравствуйте, доктор». Брюзливо косился куда-то в окно, ожидая, может быть, что оттуда явится ангел с огненным мечом и порубит на мелкий винегрет всё это никуда не годное человечество.

Озарившись лучезарной улыбкой идиота, Волин подошел к столу и, не ожидая приглашения, шлепнулся на стул. Конопатов вздернул бровь от такой наглости и, наконец, соизволил поглядеть на пациента.

– Что у вас?

– Послали, доктор, – вкрадчиво проговорил Орест Витальевич.

– Не удивительно, – буркнул тот, – я бы тоже...

Но тут же пресекая, видимо, решив, что такие каламбуры – это, пожалуй, уже чересчур.

– Вы меня не поняли, доктор, – с каждой минутой улыбка Волина становилась все шире. – К вам послали.

– Направление? – проговорил хирург, с отвращением оглядывая дурака-пациента.

– Без направления послали, – отвечал тот, – исключительно на словах.

Сказав так, старший следователь вынул из кармана пиджака шкатулочку размером с наперсток и поставил ее перед доктором.

– Это что такое? – спросил тот подозрительно.

– А вы откройте, – сказал Волин. – Откройте, не стесняйтесь...

Брезгливо сморщившись, Конопатов подцепил ногтем крышечку и откинул ее в сторону. В шкатулке посверкивал бесцветный полупрозрачный камень, похожий на слюду. Доктор судорожно откинулся на спинку кресла, закричала черная кожа.

– Что это? Что за глупые шутки?!

– Это не шутки, доктор. Это алмаз. Два с половиной карата как одна копеечка. После обработки, конечно, поменьше будет, но все равно, после огранки тысяч на двадцать долларов потянет. А у меня таких много. Смекаете?

Несколько мгновений доктор смотрел на незваного гостя с каким-то суеверным ужасом, потом заговорил. Голос его звучал скрипуче.

– Не понимаю, о чем вы? Что именно я должен смекать?

– Ну, как же, – глаза старшего следователя сияли небесной голубизной. – У нас товар – у вас купец. Желаем переправить алмазики на Запад.

Конопатов судорожно сглотнул: а при чем тут он? А при том, объяснил Волин, что у доктора есть канал сбыта. Серьезные люди хотели бы замутить с Вадим Вадимычем совместный бизнес. Прибыль – пополам, как он на это смотрит?

Доктор, наконец, овладел собой, на губах его заиграла кривая ухмылка. Какой-то странный и бессмысленный разговор они ведут. Он даже не понимает, о чем речь. А потому просил бы господина... как его там... немедленно покинуть кабинет. В противном случае доктор вынужден будет вызвать охрану. И Конопатов встал, всем своим видом демонстрируя непреклонную решимость.

– Сидеть, – тихо проговорил Волин, и доктор против своей воли почему-то опустился обратно на стул. – Не понимаете, значит? И как же вы, такой непонятливый, смогли набить алмазами Капустина и отправить его за границу?

Лицо доктора стало мертвенно-белым.

– Какой еще Капустин? – пробормотал он. – Вы кто вообще такой?

– Капустин – ваш пациент, а я... – тут Волин достал и развернул удостоверение, – старший следователь, майор юстиции Орест Волин. – Чтобы сократить время ненужных препирательств, скажу только, что Капустин был взят нами с поличным на границе.

– И при чем тут я? – Конопатов снова улыбался, на этот раз – с выражением собственного превосходства. – Он что, на меня вам нажаловался?

– Нажаловаться он на вас не мог, вы использовали его втемную. Однако у нас есть основания полагать, что именно вы придумали и реализовали оригинальную схему переправки контрабандных алмазов на Запад.

Доктор только плечами пожал. Он по-прежнему не понимает, о чем речь. Он доктор, хирург, при чем тут какие-то алмазы?

Волин несколько секунд смотрел на Конопатова, не отводя глаз, потом улыбнулся. Ну да. Почтеннейший Вадим Вадимович уверен, что его не выдаст ни его врачебная бригада, ни деверь, работающий на алмажном прииске. Однако он не учел главного.

– Чего же? – с неожиданным любопытством спросил доктор.

Он не учел того, что во всех медицинских учреждениях сейчас устанавливаются видеокамеры. И операция, которую он сделал Капустину, была записана на видео. А на видео этом можно разглядеть некие нестандартные манипуляции...

– Ерунда, – перебил его доктор. – Чушь собачья! В операционной камеры не ставят, это нарушение закона о персональных данных.

– Возможно, – согласился Волин. – Но, выбирая между штрафами и судебными исками от родственников, руководство клиники обычно выбирает первое. И потому на всякий случай все-таки устанавливает камеры. А чтобы не было претензий, маскирует их.

Доктор скривил физиономию.

– Не верю, – процедил он. – Вы берете меня на испуг.

– Ни в коем случае, – любезно улыбнулся Волин. – Видео мы уже изъяли, вы сможете с ним ознакомиться перед тем, как нам придется вскрыть господина Капустина. Вопрос не в этом. Вопрос в том, кто из вашей банды первым пойдет на соглашение со следствием. Вы человек не такой юный. Лишние несколько лет на свободе могут оказаться для вас совсем нелишними...

Доктор Конопатов сидел, опустив голову вниз. Он, только что такой глядевший сверху вниз на все мироздание, теперь казался совершенно опустошенным. Лицо его было серым и сморщенным, словно спущенный воздушный шарик.

У Волина зазвонил мобильник. Он поднял трубку.

– Здорóво, Орест Витальевич, – сказал телефон голосом генерала Воронцова. – Есть новая история из дневника Загорского. Приезжай, такого ты еще не слышал...

Глава первая. Два дяденьки без топора

«Холод, смертельный холод пронизал Митьку до самых костей, свирепый февральский ветер ударил в лицо, вышиб воздух из легких, закрутил в вечерней тьме снежную пургу, засвистал по-разбойничьи, завыл как зверь. И так тосклива была его дикая белая симфония, что самому захотелось упасть в снег на лапы, подвыть ей по-волчьи:

– У-у-у! У-у-у-у-у...

Люди добрые, слышалось в этом вое, подайте что-нибудь на бедность – укусить, а лучше пустите в дом отогреться, испить горячего чаю, а коли не чаю, так и нестрашно, и просто кипятку довольно. А если ни того, ни другого нельзя – то и пусть; можно просто свернуться в клубок, залечь у порога, дрожать, согреваясь, – все легче будет, может, даже хватит сил дожидаться бледного, ледяного рассвета.

Но не по чину Митьке быть волком, какой из него волк – так, щенок мелкий, пес шелудивый, безродный и безответный. Вот только что Кудря с своими огольцами реквизирует у него санки, а санками этими, между прочим, жил и питался Митька последние пару месяцев и рассчитывал дожить с ними как минимум до весны.

Знайте же, уважаемые граждане и примкнувший к ним пролетариат, что санки эти были чудом из чудес. Достались они Митьке от товарища его, Вантея, такого же беспризорника, только поглупее немножко. Была оттепель, Вантей расслабился да и лег спать прямо на крыльце потребкооперации. У меня, хвастался, шуба такая, тепло держит, как печка, в ней на Северный полюс можно идти, только дырки на некоторых интересных местах заштопать. Но не спасла шуба: приморозило ночью, и не проснулся Вантей, а утром работники потребкооперации нашли его на пороге и отнесли маленькое окоченевшее тело в сторону, от греха подальше – пусть им дворник занимается. И даже шубу не сняли – от доброты душевной, надо полагать, или просто потому, что кому такая шуба, грязная и дырявая, нужна – уж точно не работникам потребкооперации.

Потому и не отправился Вантей ни на Северный полюс, ни на Южный, а отправился прямо туда, где, говорят, не нужны никакие шубы, потому что и без того там тепло от раскаленных сковородок. Так, во всяком случае, полагал сам Вантей еще до того, как замерз насмерть прямо посреди столицы.

– Отчего же ты думаешь, что тебя непременно в ад угораздит? – спрашивал Митька у дружка закадычного, Вантея.

– Мне иначе нельзя, – важно отвечал дружок. – В рай меня никто не пустит, уж больно я грешник великий, а если не в рай, так больше и некуда, кроме как в ад и преисподнюю. Явлюсь я перед самым главным чертом и скажу: «Наше вам с кисточкой, не обессудьте, коли что не так было...». Может быть, по такому случаю дадут мне сковородку поглаже и масла плеснут не самого поганого.

На самом деле, конечно, никаким особенно великим грешником Вантей не был, да и с чего бы ему? Людей не убивал, не грабил лесом, а если когда чего и утырит, так ведь без этого жизни беспризорной и не бывает. День на день не приходится – другой раз наешься от пуза, а на следующий день живот волком воет. Как тут не украсть, это даже милиция в особый грех не ставит, а уж апостол Петр, который вратарая охраняет, – и подавно. Если, например, подкатиться к нему мелким бесом, зануть, заскулить: «дяденька, пустите, дяденька, не виноват, вот истинный крест, больше не буду», то даже, наверное, и товарищ апостол пропустит в Царствие небесное. То есть, конечно, пинка под зад даст, разными нехорошими словами покроет, но все ж таки пустит, а это для их беспризорного племени главное: что ни говори, а жарить задницу на адской сковородке – дело малоинтересное и не сильно приятное.

Так или иначе, помер-таки Вантей, отошел к своим беспризорным предкам. А от Вантея по наследству к Митьке перешли его санки – крепкие, добротные, как лебеди белые скользят и по снегу, и по льду, и даже по замерзшему грунту. Но санки эти не сами по себе, не затем, чтобы, как до революции было, съезжать на них со снежной горы. Санки эти, как сказал бы Карл Маркс, есть ни что иное, как средство производства, отчужденное в пользу беспризорного пролетариата. На этом самом средстве Митька возил с вокзала багаж пассажиров – тем и жил, тем и питался последнее время. Не райский, конечно, рацион и даже не усиленный паек, но перебиваться кое-как можно. Но, видно, чертям в аду тошно было смотреть на его благополучие и они послали на землю Кудря. А тот со своими пацанами всю местную ватагу разогнал, сам же после этого сел на вокзале царствовать, вершить суд и расправу.

С Кудрей воевать оказалось трудно – он уже не оголец был, не шкет и не пацан, а без пяти минут взрослый босьяк. Горбатый, со злобной рыжей щетиной в поллица, ростом даже пониже Митьки будет, но клешни как у краба: схватит – не выпустит, шею, как тростинку, переломит. И это уже не говоря про шпану его, которая вьется вокруг, словно они мухи, а им тут медом намазано. Хотя какой там, извините, мед: субстанция, из которой Кудря слеплен, совсем иначе зовется – так, что в приличном обществе и не выговоришь.

Вот так и вышло, что убил Митьку Кудря, просто-таки без ножа зарезал. Пришел вечером со своими пацанами, не говоря худого слова, отнял санки. Умолял его Митька, просил вернуть, аргументировал даже: на что, говорил, жить буду?

– Что-нибудь да стыришь, – отвечал Кудря равнодушно, – хочешь жить, умей вертеться.

Но ладно бы одни только санки забрал. Есть такие люди – им покажешь палец, а они всю руку отгрызут. Кудря был как раз такой, и глаз свой горбатый немедленно положил и на матросский бушлат Митьки, бушлат дивный, обжитой, в три раза против вантеевой шубы теплый. Давай, сказал Кудря, тыкая вонючим пальцем в бушлат, давай, мать, сюда твою шкуру, тебе ни к чему. От таких слов Митька вспыхнул, как спичка, ощерился бешеным волчонком.

– Что творишь, Кудря? Санки отнял, бушлат забираешь. Зима на улице, я же околею!

– Ништо, – отвечал Кудря, – ходи в детскую ночлежку, согреешься. Там так топят – ажно, мать, взопреть можно.

Хотел Митька сказать, что днем в ночлежке не отсидишься, все равно на улицу идти, но Кудря и слушать не стал – протянул клешнятую руку к Митьке и ну его из бушлата выворачивать, как устрицу из раковины. Но только Митька не устрица, у устрицы зубов нет.

От ярости потемнело у него в глазах, а потом вдруг неведь откуда полыхнул яркий свет. Не помня себя, выхватил беспризорник финку и ловко пописал небритую морду. Вот тебе, сволочь горбатая, вот тебе еще раз – сдохну, но на всю жизнь по себе память оставляю!

Думал Митька, что так оно и выйдет ему умереть без покаяния, что в следующий миг разорвет его на части шакаля стая огольцев, прямо тут и растерзает. Но меньше всего ожидал того, что случилось потом. Получив пару порезов на физиономии, с ужасным криком отпрянул Кудря, скорчился, держась за харю, и подвывая, потрусил прочь. Шкеты его тоже прыснули в разные стороны.

– Убил! – завизжали. – Порезал, сука, пахана порезал!

А сами давай Бог ноги, как будто черти за ними гнались, а не мелкий шкет двенадцати годов от роду.

Вот так оно и вышло, уважаемые граждане, что блудным псом оказался как раз-таки Кудря со своими пацанами, а Митьку, напротив, правильнее было бы считать волком или волчонком зубастым – это уж кому как нравится.

Однако ясно было, что оставаться дальше тут нельзя – Кудря оклемается, вернется назад и врагу его не жить больше на Белорусском вокзале, а то и вообще на белом свете. Поэтому Митька взял ноги в руки и вскорости перебрался уже на Октябрьский вокзал: здесь он бывал раньше, хотя и никогда не работал.

Правда, и сейчас тут работать было нельзя – санки-то отняли, а на своем горбу много не унесешь, да и клиенты брезгуют: пошел, говорят, вшивая команда, только тебя тут и не хватало! Так что единственная работа, которая оставалась – карманником, щипачом. Но работа эта требовала во-первых, квалификации, во-вторых, помощников. И, наконец, был риск загреметь в милицию – место неприятное и к беспризорникам недоверчивое. Это только в святочных рассказах стражи закона, поймав бездомного, не лупят его что было мочи по всем местам, а, напротив, кормят, поят, а потом отпускают восвояси. В обычной жизни пойдешь еще найди таких благодетелей.

Однако голод не тетка и даже не двоюродная бабушка. Есть захочешь – не то, что в карман к пассажиру – в кобуру к гэпэушнику³ залезешь. Сначала Митька хотел только погреться в зале ожидания третьего класса, но там какие-то больно суровые контролеры оказались – выперли его на улицу без всякой жалости к злополучной его судьбе.

– Дяденьки, – умолял он, – пустите погреться, я только на полчасика...

– Шуруй отсюда, дефективный, – отвечал ему молодой стрелок охраны, – а то промеж глаз сапогом получишь.

И получил бы, не сомневайтесь, когда бы не природная его резвость.

Унылый и мерзнувший, Митька вновь оказался на улице, посреди белой мятущейся пурги. Красиво, конечно, когда снежинки вихряются, то взлетают, то падают, внизу заматают мостовую, а вверх – растворяются в темном беззвездном небе. Но красоту эту может понять тот, кто смотрит на нее из окна теплого дома. А если не повезло тебе оказаться в самом сердце этой ледяной красоты, то моли Бога, чтобы оставил он тебя живым хотя бы до утра.

На голую ладонь ему упала снежинка и тут же обратилась в каплю. Митька слизнул ее горячим языком. Вот если бы так слизнуть весь снег и весь холод и оказаться где-нибудь на берегу вечно теплого моря, где пальмы и кокосы...

На худой конец можно было отправиться в детскую ночлежку, вот только ближайшая была далеко, сквозь пургу, пожалуй, и не дойти. Да и невеликое удовольствие, граждане, в ней сидеть: в ночлежках начальство само по себе, а верховодят там обычно малолетние бандиты вроде того же Кудри. Вот уж куда вечером сунешься в бушлате, а утром выйдешь с голым пупом – и даже не узнаешь, на кого пенять.

Говорят, что из всех испытаний холод – страшнее всего. Но и голод, скажу я вам, тоже радость невеликая, особенно, когда с утра маковой росинки во рту не было. А уж если голод с холодом соединятся, тут уж совсем пиши пропало. Потому-то и не оставалось Митьке ничего, как отправиться на охоту.

Охотиться надо было возле первого класса – там публика и обеспеченная, и не такая сторожкая. В третьем классе у какой-нибудь торговли бублик уворуешь, так она такой крик подымет, будто не бублик, а душу бессмертную у нее уперли. Нет, дорогие граждане, если за каждый бублик так цепляться, то никогда мы с вами социализма не построим и заветов Ильича не выполним. Надо нам добрее друг к другу и отзывчивее быть, и не держаться слишком уж крепко за бублики и кошельки, и тогда, хочешь – не хочешь, настанет на всем свете справедливость, а в человеках – благоволение.

Именно по этой причине, а ни по какой другой, Митька предпочитал людей богатых и положительных, в первую очередь всяких нэпманов, а также граждан при хорошей должности. Если уж идти под монастырь, так хотя бы знаешь, за что рискуешь.

В этот раз Митьке повезло. Еще издалека он углядел двух положительных в смысле финансов пассажиров. Пассажиры сошли с извозчика и двигались теперь сквозь пургу прямо к вокзалу. Один был в дорогом черном коверкотовом пальто, другой – в желтом теплом полушубке. Который в пальто, видно, вообще не мерз, потому что на седой его голове не было

³ Гэпэушник – разговорное обозначение работника ОГПУ, чекиста.

не то, что хорошей зимней шапки, но даже и простенькой кепочки, какую может позволить себе любой сознательный пролетарий.

Зато спутник его одет было так тепло, словно в Антарктиду собрался плыть вместо гражданина Амундсена. Тут имелся и уже упомянутый полушубок, и теплые валенки, и внушительная лисья шапка с хвостом, который осенял его голову, словно нимб у дореволюционных святых.

Но не полушубок и не шапка привлекли внимание Митьки. Изумил его внешний вид пассажира – желтое сплюснутое лицо, на котором, словно два косых фонаря, горели прищуренные глаза. Увидев глаза эти, шкет на миг даже стушевался, отступил в тень, малодушно хотел отказаться от воровской своей затеи. Однако в последний миг спохватился – уж больно соблазнительной казалась добыча. А еще понравилось, что не было у клиентов багажа, только небольшие саквояжи у каждого. По опыту он знал, что именно такие наиболее беспечны, и именно у таких бумажники набиты ту же всего.

Не говоря худого слова, пристроился Митька за косым, который шел позади седовласого. Выждал удобного мгновения, да и запустил руку в карман полушубка. И даже, кажется, нащупал там что-то... Вот только радость его была недолгой. Косой в лисьем малахае, видно, обладал нечеловеческой чуйкой и сразу ощутил в кармане постороннее присутствие. В тот же миг рука его нырнула в карман и так прижала Митькину лапку, что тот, не выдержав, тонко и высоко заверещал, перекрывая даже свист ветра.

Седоволосый в пальто обернулся на крик.

– Что у тебя там, Ганцалин? – спросил он недовольно.

– Жулик малолетний, – отвечал Ганцалин. – В карман ко мне залез.

Господин в пальто иронически поглядело на Митьку. Стало видно, что у него, несмотря на седые волосы, брови совершенно черные. Митька встретился с пальто взглядом и отвел глаза.

– Пустите, дяденька, – сказал он почти шепотом. – Я не со зла – голодную.

– Проголодался, значит, – кивнул седоволосый. – Ладно. Идем-ка с нами, поговорим.

Паника охватила Митьку. Куда они его – в милицию? А, может, сразу в ОГПУ⁴, как уголовный элемент и контрика к тому же? Он попробовал вырваться, но желтолицый Ганцалин держал его железно, как будто в тиски слесарные зажал. Казалось, дернись посильнее – с руки вся кожа сойдет.

– Не бойся, – успокоил его седоволосый. – Тебя как зовут?

– Дмитрий, – честно отвечал мальчишка.

– А фамилия?

«Манда кобылья», – едва не ляпнул Митька по хамской беспризорной привычке, но вовремя спохватился. А зачем господину в пальто его фамилия? С какой, так сказать, целью интересуется? С хреном, что ли, собирается он есть эту самую, фамилию?

– Не хочешь – не говори, – пожал плечами собеседник. – Меня можешь звать Нестор Васильевич. А это, как ты уже, вероятно, понял, мой друг и помощник Ганцалин. Он китаец.

– А отчество как? – спросил Митька.

– Считаю, что Ганцалин – это сразу и имя, и фамилия, и отчество. У китайцев такой порядок.

– А ваша как фамилия?

– А зачем тебе моя фамилия? – усмехнулся Нестор Васильевич. – С хреном, что ли, собираешься ты ее есть?

Митька было насупился, поняв, что его поймали на его же собственную хитрость, но Нестор Васильевич улыбнулся: ладно-ладно, не обижайся, Загорский моя фамилия.

⁴ ОГПУ (до 1923 года – ГПУ) – Объединенное Государственное политическое управление, преемник ЧК.

Митька, помявшись, назвал и свою фамилию – Алсуфьев. Чего, в самом деле – поди, не в ГПУ допрашивают. Услышав митькину фамилию, Загорский остановился и коротко, но очень внимательно оглядел и всю фигуру и, главное, лицо беспризорника, засыпаемое мелкой снежной крупой.

– Что ж, – сказал, – ты, Дмитрий, человек уже взрослый, у тебя и отчество должно быть.

И отчество – Федорович – Митька тоже назвал: не жалко. Но в этот раз лицо Загорского осталось неподвижным, он только на Ганцзалина своего бросил быстрый взгляд.

Зашли, наконец, в здание вокзала. Контролер из ТОГПУ⁵ посмотрел на беспризорника с величайшим подозрением, но останавливать не решился: уж больно важные граждане его сопровождали.

Зашли в буфет. Нестор Васильевич закупил гору пирожков с мясом и капустой, а еще салату в небольших тарелочках и пожарских котлет с макаронами, взял Митьке чаю, себе с Ганцзалином – кофею. А Митьке, сказал, кофе вреден, он еще маленький.

Митька с голодухи так навалился на пирожки – за ушами затрещало. Первые пару минут глотал, почти не жуя. Загорский только посмеивался, глядя на него, Ганцзалин же хранил на лице совершенно каменное выражение.

Дошло до салата, а потом – и до котлет. Наконец минут через двадцать усиленного жевания беспризорник утер рот салфеткой и отвалился от стола, совершенно осоловевший. Отложил вилку и Нестор Васильевич.

– Ну, – сказал серьезно, – рассказывай, Дмитрий Федорович, историю своей тяжелой и многотрудной жизни.

Митька нахмурился слегка: да что там рассказывать. Жизнь, точно, была тяжелая и многотрудная. Родился он в семье рабочего и прачки. Мать умерла от перенапряжения, отец пошел добровольцем на фронт – воевать с Колчаком, да так и не вернулся. Из комнаты, которую они снимали, Митьку поперли, так вот он и на улице оказался.

– Вот значит, как, – задумчиво сказал Нестор Васильевич. – Отец, получается, рабочий, а мать прачка?

Тон Загорского совсем не понравился Митьке, и ему захотелось сбежать. Однако он был приперт столom к стене и бежать ему было некуда, разве что по стене под потолок. Тем более, что и Нестор Васильевич смотрел на него таким пронзительным оком, как будто бабочку иглой пришил. Сбежать от этого ока казалось делом совершенно невозможным.

– Выходит, ты из совсем простой семьи? – продолжал допытываться новый знакомый.

– Выходит так, – несколько недовольно, как бы обиженный подозрением, отвечал беспризорник. – Как есть пролетарский сын и круглая притом сирота.

– А скажи-ка ты мне, пролетарский сын, где ты научился так ловко обходиться ножом и вилкой?

Митька замер – поймали! Голубые глаза его вытаращились на Загорского и смотрели теперь с ужасом. Однако спустя мгновение его осенило.

– А приемные родители научили, – сказал он небрежно. – Советские такие мещане – вилочки у них, слоники фарфоровые, вся эта дребедень.

– Складно звонит, – заметил китаец.

– Одаренный мальчик, – согласился Загорский. – С фантазией. Все беспризорники твоего возраста чумазые ходят, как черти, а ты – нет. Привычка умываться каждый день тоже от приемных родителей тебе досталась?

Митька на это не нашелся, что сказать, и с негодованием уставился на соседнюю стену. Нестор Васильевич, однако, в покое его не оставил. Придвинулся к Митьке поближе. Негромко

⁵ ТОГПУ – Транспортный отдел Государственного политического управления.

и очень доверительно заметил, что если Димитрий будет и дальше им врать, они ему помочь не смогут.

– А если не буду – сможете? – не удержался, воткнул-таки шпильку мальчишка.

– Очень может быть, – серьезно отвечал Нестор Васильевич. – Видишь ли, я – потомственный дворянин. И потому сразу вижу в другом человеке дворянина, даже если человек этот совсем маленький, как ты, например. А то, что ты пытаешься выдать себя за пролетария – это как раз понятно. Время сейчас такое: дворянами быть плохо, неуютно...

Тут глаза у мальчишки сощурились, из голубых стали черными, и в них закипела ненависть.

– Неуютно? – прошипел он. – У меня отца с матерью расстреляли за то, что они дворяне – это, по-вашему, неуютно? У меня старший брат в лагере сидит, потому что он эксплуататорский элемент – это тоже неуютно? Я один на свободе, потому что ребенок, но не сегодня-завтра околею на улице – и это, по-вашему, тоже «неуютно» называется?!

Беспризорник все еще шипел и сверкал глазами, но Нестор Васильевич уже не глядел на него, смотрел куда-то вверх, в потолок, застыл, как изваяние, только крутил на пальце железное кольцо. Потом откинулся на стуле, перевел взгляд на помощника.

– Как думаешь, Ганцалин, сколько ему лет? – спросил негромко, но так, чтобы Митька слышал.

– На вид лет десять, – так же негромко отвечал китаец, смерив мальчонку взглядом.

Загорский не согласился. Уличная жизнь нелегкая, дети тут недоедают, растут трудно. На его взгляд, Димитрию не меньше двенадцати. Однако чувствует и говорит он уже как взрослый. Когда дурака не валяет, конечно.

– Да что вы от меня хотите? – не выдержал, наконец, Митька. – Что вы пристали к человеку?

– Ничего не хотим, – отвечал Загорский, – просто видим, что человек – в трудных обстоятельствах. Вот скажи, до чего надо было дойти дворянину, чтобы полезть публично в чужой карман?

Митька насупился и запыхтел: какого черта привязались, он еще ребенок!

– Тогда скажи: до чего надо было дойти ребенку, чтобы публично полезть в чужой карман? – неумолимо продолжал Нестор Васильевич.

Митька неожиданно заплакал, размазывая слезы по задубевшему от ветра и холода лицу. Плакал он горько и неостановимо, изливая в слезах весь страх свой, всю горечь и разочарование, которые скопились в нем за годы бродяжничества.

Ганцалин и Загорский ему не мешали, сидели молча и даже, кажется, глядели в другую сторону. Вскорости Митька стал понемногу успокаиваться и, наконец, вовсе умолк и сидел теперь, отворотясь – по-видимому, стыдился своих недавних слез.

– Ну вот, – сказал Нестор Васильевич суховато, – а теперь, милостивый государь, можем поговорить предметно. Мой первый вопрос: вас что-то удерживает в Москве?

Митька шмыгнул носом и покачал головой отрицательно.

– Прекрасно, – кивнул Загорский. – В таком случае предлагаю вам отправиться в увлекательную и душеполезную поездку в город святого Петра. Или, как его теперь называют, в Ленинград.

* * *

Вагон первого класса уютно постукивал на стыках рельсов, за окнами плыла морозная тьма, но здесь, в поезде, было светло и тепло, как в небесных селениях. Загорский договорился с проводником, чтобы Митьку перевели к ним в купе.

– Да хоть весь сиротский приют селите, если хорошие люди, – отвечал проводник, заботливо пряча в карман червонец. – Я, случись ревизия, вас предупрежу заранее...

И, не дожидаясь просьбы, принес на всех троих чаю с сахаром и лимоном.

Митька чувствовал себя на седьмом небе, или даже в раю, что, вероятно, одно и то же. Тепло, светло, наелся он от пуза и впервые за много лет оказался в приличном обществе. Да мало сказать в приличном – он едет с настоящим детективом, вроде Шерлока Холмса и Ната Пинкертон, у которого в помощниках к тому же настоящий китаец!

Ганцалин, впрочем, считал, что Нат Пинкертон против его хозяина – все равно что плотник против столяра, то есть вообще ему не конкурент. Это уже не говоря о том, что Нат Пинкертон – с ног до головы выдуман, а Загорский – с головы до ног настоящий. И его даже потрогать можно.

И Митька трогал украдкой, и задавал вопросы: а что, а как, а почему? И Загорский, посмеиваясь, но все-таки вполне серьезно на эти вопросы отвечал.

Конечно, если бы Митька был обычный беспризорник, он бы первым делом обеспокоился и напугался: а куда и зачем его везут двое незнакомых дядек? Среди бездомных еще со времен Гражданской ходили байки о том, как беспризорников приманивают на сытный харч и доброе обращение, а потом рубят на холодец вместо тельца. Возможно, это были не только байки, очень может быть, содержалась тут и некоторая правда, потому что время было страшное и голодное, и что там продают обывателю под видом студня – никто особенно не разбирался.

Но Митька не был обычным беспризорником, а Загорский с Ганцалином не были обычными ласковыми дяденьками с топором за спиной. И Нестор Васильевич не стал мутить воду и наводить тень на плетень, а сразу объяснил, зачем они едут в Петроград.

– Уже убивал кого-то? – поинтересовался Загорский как бы между делом, пока беспризорник высасывал из стакана сладкий чай.

– Не до смерти, но мало что не убил, – сознался Митька, вспомнив Кудря.

Нестор Васильевич кивнул. Пока не убил, а если дело пойдет так дальше, непременно убьет. Потому что человек не животное, и не должен он жить на улице. На улице человек дичает и превращается в зверя.

– И ты, Димитрий, рано или поздно станешь таким же зверем, как этот твой Кудря. Просто потому, что надо будет выбирать – или самому убить, или быть убитым.

– А что же делать-то? – упавшим голосом спросил Митька: уж очень ему не хотелось превращаться в дикого зверя.

– Становиться членом социального общества, – коротко отвечал Нестор Васильевич.

И объяснил, что есть в Петрограде очень хорошая школа-интернат имени Достоевского. Заведует ей давний знакомый Загорского, Виктор Николаевич Сорбца-Росинский.

– Сорбца-Росинский – хороший человек, – продолжал Загорский. – Он за тобой приглядит, выявит твои таланты, склонности, даст путевку в жизнь.

Тут Митька неожиданно насупился. Не нужна ему никакая путевка ни в какую жизнь. И в интернат он не пойдет ни за какие коврижки. Почему? А вот потому! Нельзя ему в интернат – и точка.

Однако Нестор Васильевич такой аргументацией не удовлетворился и потребовал объяснений. Митька некоторое время крепился, а потом пробурчал:

– Не могу я в интернат. Меня брат искать будет.

– Это который в лагере сидит? – осведомился Ганцалин.

– Он самый, – отвечал беспризорник. – Если я из Москвы в Питер перееду, он меня не найдет.

Загорский задумался, потом спросил, сколько брату еще сидеть в лагере? Этого Митька не знал.

– Вот видишь, – сказал Загорский. – Может год еще, может, три. А ты все это время по улице будешь шастать?

Митька упрямо мотнул головой. Брат будет искать его в Москве, а если он уедет в Питер, его не найдут.

– В каком лагере сидит брат?

Брат сидел в Соловецком лагере особого назначения – месте страшном и простому человеку совершенно недоступном, ну, разве что в качестве заключенного. Услышав такое, Нестор Васильевич нахмурился, потом опустил глаза, что-то прикидывая, и снова посмотрел на Митьку.

– Значит так, – сказал он решительно. – Если согласишься пойти в интернат к Сороке-Росинскому, обещаю тебе, что доберусь до брата и скажу, где тебя искать.

– Как же вы доберетесь? Это же Соловки, туда чужих не пускают, – усомнился Митька.

– А я не чужой, я сыщик, – отвечал Загорский. – А сыщикам, как ты, наверное, знаешь, везде у нас дорога. Ну так как – договорились?

Но Митька только буркнул что-то неразборчивое в ответ. Загорский не расслышал и попросил повторить.

– Лучше бы вы меня просто усыновили, – проговорил беспризорник, глядя на Нестора Васильевича с надеждой. – Хотя бы пока брат не вернется.

Нестор Васильевич, явно не ожидавший такого предложения, озадаченно поглядел на Ганцалина. Тот скорчил рожу, значение которой истолковать было довольно мудрено. Загорский объяснил Митьке, что они с Ганцалином не супружеская пара и усыновить Димитрия никак не могут. Но в этом и нет никакой необходимости – в интернате у Сороки-Росинского ему будет не хуже, чем в семье. Опять же, воспитываться лучше среди сверстников, а не в компании двух немолодых уже граждан, которые к тому же беспрестанно ездят с места на место – такая уж у них работа.

Видя, что Загорский вот-вот ускользнет, Митька сделал последнюю, отчаянную попытку.

– Если усыновите, – сказал он тонким голосом, – я вам покажу, где запрятаны фамильные драгоценности. Много драгоценностей, и дорогие к тому же – брильянты, изумруды.

Загорский только головой на это покачал. Ганцалин спросил, чего же Димитрий сам эти драгоценности не возьмет. Митька отвечал, что он, во-первых, еще маленький, во-вторых, живет на улице, где его в любой момент могут ограбить. А вот если они вместе...

– Нет, – отрезал Загорский. – Никакие твои драгоценности нам не нужны. Они еще вам с братом пригодятся. А твое дело – дожить до его возвращения...

Спустя полчаса Митька уже сладко посапывал, лежа в купе на восхитительно белом и чистом крахмальном белье, а Нестор Васильевич и Ганцалин негромко переговаривались в тамбуре.

– И что будем делать? – спрашивал китаец, не отводя глаз от хозяина, который мрачно смотрел в окно, в клубящуюся под фонарями ночную зимнюю мглу.

Загорский с минуту молчал, потом поглядел на помощника.

– Будем делать, что должно, а там будь, что будет.

Однако Ганцалин не отставал – он хотел прямого ответа.

– Федор Алсуфьев был один из немногих близких моих друзей, он мне когда-то жизнь спас, – грустно проговорил Нестор Васильевич. – Мой долг – помочь его детям.

– Ну, мальчишку ладно, его мы Сороке отдадим, – китаец не отводил от Нестора Васильевича огненных глаз. – Но старшему-то вы чем поможете? Он ведь сидит не как политический, не как эсер какой-нибудь или анархист. Сидит как контрреволюционер, в самом страшном лагере сидит. Странно, что до сих пор не шлепнули его, а, может, и шлепнули уже, просто Митька не знает. Неужели в лагерь ползете?

Загорский с интересом посмотрел на помощника: а что, хорошая идея! Молодец, Ганцзалин!

– Не молодец Ганцзалин, – отвечал китаец с досадой. – Идиот Ганцзалин, дурак Ганцзалин, последний болван Ганцзалин!

Нестор Васильевич засмеялся: ну уж, не заслужил он таких аттестаций. Еще как заслужил, пробурчал помощник. Теперь хозяин полезет прямо волку в зубы. Нельзя из-за ложно понятого чувства долга жизнь отдавать!

Загорский слегка нахмурился.

– Ну да, – сказал. – Ложно понятое чувство долга. А еще ложно понятое чувство дружбы и ложно понятое чувство любви. Но если не за это отдавать жизнь, так за что еще?

Глава вторая. Шулер и фармазон

Старший следователь московского уголовного розыска Иван Андреевич Сбитнев мирно посиживал на рабочем месте, поглядывая через окошко на заснеженную Москву. Седалищем он так крепко врос в служебный стул, что, казалось, на всей земле не найдется силы, способной его оттуда выковырнуть.

Впрочем, мы, кажется, возводим напраслину на старшего следователя. Между нами говоря, прекраснейший человек Иван Андреевич, просто великолепный, другого такого не найти, пожалуй, во всем угрозыске. Ну, об этом, положим, и так все знают. Однако не все знают, что даже такой сияющий всеми достоинствами гражданин имел перед советской властью некоторые прегрешения. Ничего удивительного в этом, конечно, нет, потому что и на солнце бывают пятна. И даже, говорят, сам товарищ Ленин, еще не будучи главой Совнаркома, а будучи эмигрантом безродным, хаживал от боевой подруги Надежды Константиновны Крупской налево, к Инессе то есть Федоровне Арманд⁶. И если уж Ильич откалывал такие фокусы, то Сбитневу, наверное, сам Бог велел – или как думаете?

Правда, по части ходьбы налево Иван Андреевич был чист, как стеклышко. Некуда ему было хаживать, и неоткуда, поскольку был он холост, как патрон на учениях. А вот по части служебных недочетов числилось за ним одно совсем небольшое нарушение, почти шалость. Ну, то есть что значит небольшое? Это, конечно, как посмотреть. Другого бы за такую шалость упекли бы лет на десять в места не столь отдаленные, точнее сказать, в очень отдаленные упекли бы места – и там и оставили бы до скончания веков. Но шалость эта, по счастью, была почти никому не известна. Так, во всяком случае, надеялся сам Иван Андреевич и потому очень желал эту самую шалость забыть.

Однако судьба неожиданно напомнила ему об этой шалости, и напомнила совершенно недвусмысленно. Когда, отсидев на службе положенный срок, Сбитнев вечером отправился домой, там, прямо в запертой квартире обнаружил он двух незваных гостей.

В единственной жилой комнате на любимом сером плюшевом кресле Ивана Андреевича вольготно, словно у себя дома, расположился импозантный седовласый господин с черными, как смоль, бровями. Напротив на потертой козетке сидел страшного вида китаец, при других обстоятельствах, без сомнения, напугавший бы Сбитнева до икоты.

К счастью, обоих гостей Иван Андреевич прекрасно знал, хоть и не одобрял их манеры внезапно объявляться в запертых помещениях. Но, как говорил в свое время поэт Пушкин, привычка свыше нам дана, и, значит, не нам бороться с решениями вышестоящего начальства.

– Нестор Васильевич! – воскликнул Иван Андреевич, делая вид, что не только польщен, но даже и до глубины души обрадован этим внезапным визитом. – Чем обязан и, так сказать, чем могу быть полезен?

Старший следователь говорил чуть более витиевато и даже льстиво, чем было положено ему по должности. Но тон его вызван был не страхом, как можно подумать, а исключительно уважением к легендарной личности знаменитого детектива. Впрочем, и страх тут, конечно, присутствовал, но, сами посудите, какое же дело делается без страха в государстве рабочих и крестьян? Не будет страха, не будет и дела. А у Сбитнева еще и дополнительные имелись основания для страха, точнее сказать, для уважения. Единственная его шалость, о которой он страшно жалел, произведена была как раз при непосредственном участии Нестора Васильевича Загорского. Была, знаете ли, одна история, благодаря которой подследственные Андрея Ивановича сбежали из изолятора, хотя по документам значились они просто умершими.

⁶ Инесса Федоровна Арманд, урожденная Элизабет Пешё д'Эрбанвилль – участница российского революционного движения, предположительно – любовница Владимира Ленина.

Так что захоти Загорский довести старшего следователя до цугундера, он мог сделать это в два счета. Вот потому и был так вежлив Сбитнев и так трепетал, хотя никакой, признаться, особенной радости не испытал он при виде Загорского и его верного Ганцзалина.

Как уже говорилось, старший следователь был человек опытный и всякого повидал на своем веку. В том числе видел он и такое, что никак не объяснить без учета чудес, одной только марксистской наукой. Но ничего подобного тому, что ему сказал сейчас Загорский, Иван Андреевич не только не слышал ранее, но даже и вообразить себе не мог.

– То есть как, простите, в концлагерь? – спросил он, открывши рот. – В каком же это качестве, я извиняюсь, хотите вы туда попасть?

– Я бы хотел, разумеется, в качестве начальника лагеря, – усмехнулся Нестор Васильевич. – Но, полагаю, для этого у вас нет никаких возможностей. Поэтому должность моя на Соловках будет самая простая – заключенный.

Ах вот оно что – заключенный! Ну, разумеется, как же иначе, именно так Сбитнев и полагал.

Как уже говорилось, Иван Андреевич имел богатый жизненный опыт. Он не раз встречал граждан, которые страстно мечтали засадить в тюрьму своих врагов, но ни разу не видел человека, который желал бы сесть за решетку по собственному желанию. Впрочем, разные, конечно, бывают люди, встречаются и сумасшедшие, что греха таить. Вот только Загорский никак не походил на умалишенного, да и китаец его не производил впечатления буйнопомешанного. Тогда зачем им это все?

– Откровенно говоря, любезный Иван Андреевич, я не хотел бы вводить вас во все детали операции, – сказал Загорский, обменявшись быстрым взглядом с помощником. – Учитывая наше прошлое сотрудничество, я просто мог бы вас заставить, и вы бы вряд ли мне отказали. Но не в моих правилах так обращаться с людьми. Я людей уважаю, а вас и подавно...

Последняя фраза прозвучала как-то двусмысленно, но Сбитнев решил не входить в детали – важнее было понять, о чем вообще идет речь.

– Вам, конечно, известно, что Соловецкий лагерь, как и прочие места заключения, ранее принадлежал министерству юстиции, – продолжал детектив. – Однако не так давно он де-факто перешел в ведение главы ОГПУ господина Дзержинского. Соловецкий лагерь особого назначения – абсолютно закрытое место, куда не пускают должностных лиц министерства юстиции. Скажу вам по секрету, что туда не пустили даже государственного прокурора. Министерство чрезвычайно беспокоит то, что творится на Соловках, и вот меня попросили тайно пробраться в лагерь и выяснить обстановку. Таким образом, помогая мне, вы ничего противозаконного не совершаете – напротив, способствуете установлению правопорядка и законности.

– Понятно, – ошеломленно проговорил Сбитнев. – Но почему же министерство само вас туда не пошлет?

– Чтобы иметь чистые руки, – отвечал Нестор Васильевич. – Если Минюст начнет действовать по своим каналам, рано или поздно об этом узнают чекисты. И тогда не миновать большой войны между двумя этими могучими ведомствами.

С минуту Сбитнев потрясенно молчал. Мысль о том, чтобы идти против всесильного ОГПУ, была ему страшна, но еще ужаснее казалось разоблачение, которое в два счета мог устроить ему Загорский.

– И что же требуется лично от меня? – несколько осипшим голосом наконец осведомился старший следователь.

– Ничего экстраординарного, – успокоил его Нестор Васильевич. – Вам нужно будет сфабриковать уголовное дело, на основании которого меня совершенно законно этапируют в Соловки.

Ага, лихорадочно думал Сбитнев, час от часу не легче. Дело сфабриковать, подумаешь, ерунда какая!

– Я не говорю, что ерунда, – отвечал Загорский, – однако, как мы оба знаем, у вас есть уже опыт.

И он со значением поглядел на Ивана Андреевича. Он взгляда этого у старшего следователя затряслись поджилки. Вот черт, зачем только он пошел в милицию, к большевикам! Надо было сразу бежать с Деникиным, а лучше с Врангелем. Сидел бы сейчас где-нибудь в Брюсселе, ел бы устриц, пил шампанское и горя не знал.

– Устриц, любезный Иван Андреевич, нужно заслужить, – заметил Загорский. – Вы, чем бесплодно мечтать, лучше подумайте, по какой статье мне идти? Или как там у вас говорится – чалиться?

Статья – это, конечно, был серьезный вопрос. В идеале, разумеется, лучше всего бы пойти как политический, то есть какой-нибудь эсер или анархист. Политические на Соловках были привилегированной кастой, их даже работать не заставляли. Однако делами политических занималось ОГПУ и уголовный розыск тут был совершенно бессилён.

Нельзя было провести Загорского и по категории каэров, то есть контрреволюционеров. Формально-то он подходил под эту категорию как нельзя лучше, поскольку был из бывших. Чтобы стать каэром, этого было вполне достаточно. Однако каэрами тоже ведало ОГПУ. Это во-первых. Во-вторых, каэры в лагерной иерархии занимали самое нижнее место. Администрация вовсе не считала их за людей и подвергала разнообразным мучениям. Каэра мог просто расстрелять без суда и следствия любой мелкий начальник.

Были еще советские должностные лица вроде чиновников, хозяйственников и проворовавшихся чекистов и, разумеется, обычные уголовники. Однако любой чиновник, хозяйственник и чекист имел определенное место службы – и сфабриковать это место было крайне сложно, если вообще возможно. Оставался, таким образом, криминальный элемент.

– Вором побыть не желаете? – не без яда предложил Сбитнев. – Или, может быть, убийцей?

Загорский поморщился. Убийцей бы не хотелось, публика это неприятная и жестокая. Пребывание среди убийц и самого человека не красит, и делу будет только мешать. Не говоря уже о том, что и пришить могут товарищи по несчастью, у них это просто.

– Тогда можно бытовика врезать, – сказал Иван Андреевич. – Это когда преступление совершается на бытовой почве. Например, теще голову расшибли. Отношение в лагере к бытовикам, конечно, несерьезное, но все лучше, чем каэром корячиться.

– Бытовиком – это годится, – согласился Нестор Васильевич. – Но только без тещи. Нет у меня тещи, придумайте что-нибудь другое.

Сбитнев обещал придумать. Тут надо было изобрести что-то такое, чтобы Загорского не оставили на материке, а отослали именно в Соловки. Преступление должно быть достаточно тяжелым, чтобы отправили на Соловки, но не достаточно, чтобы расстреляли. Хорошо было бы определить его по сорок девятой статье, как социально опасного. Тогда можно будет передать Нестора Васильевича ОГПУ – местной тройке по борьбе с контрреволюцией, а та уж загонит его за Можай, то есть в данном случае – на Соловки.

– И вот еще что, – вспомнил Загорский. – Мне нужны фальшивые документы.

– Зачем это? – насторожился следователь.

Собеседник поглядел на него с легкой иронией. Неужели любезный Иван Андреевич полагает, что Загорский пойдет в лагерь под собственным именем?

Сбитнев нахмурился. Это сильно усложняло дело. Фальшивые документы – это всегда риск. Впрочем, можно сделать Загорского фармазоном⁷ или карточным шулером. Умеет ли Нестор Васильевич играть в карты?

⁷ Фармазон, согласно уголовному жаргону – незаконный торговец драгоценностями, обычно фальшивыми.

– Я так играю в карты, – отвечал Загорский, – что никаким вашим фармазонам и не снилось.

– Ну и прекрасно, – обрадовался Сбитнев. – Эта публика часто пользуется фальшивыми документами, или вообще ходит без них. Вас, скажем, взяли по подозрению в торговле ювелирными изделиями, документов при вас не было, ну, мы и записали то, что вы сами о себе рассказали. Ходка у вас первая, так что опознать вас при всем желании некому. И документы тоже никакие не нужны.

– Годится, – кивнул Нестор Васильевич. – буду фармазоном и шулером.

– И последний вопрос, – проговорил старший следователь, почему-то прищурившись. – Представляете ли вы, что такое Соловецкий лагерь особого назначения? Понимаете ли, что если вы туда попадете, никакое Министерство юстиции вас оттуда не вытащит? И жизнь свою, скорее всего, закончите вы именно там, а не где-то еще.

– А это уже не ваша забота, – сухо отвечал Загорский. – Валяйте, стряпайте дело.

Глава третья. Власть соловецкая

Весна – зеленый прокурор – пришла на Соловки по графику, только не по календарному, а по своему, соловецкому.

Впрочем, чужак был бы удивлен ничтожностью весенних проявлений в Соловецком лагере особого назначения, для краткости именуемом просто СЛОН. Даже в начале мая тут свирепствовал пронизывающий ветер, особенно яростный на морском берегу. В лесу и на болотах в ожидании робкого северного тепла не таял, но лишь исправно обгнивал серой грязью слежавшийся за зиму снег. Наступающая весна никак не обещала облегчения общих работ в лесу и на торфозаготовках. Работы эти были прямым путем в могилу даже для молодых и крепких, не говоря уже о людях преклонного возраста. И молодых, и старых исправно доставляли сюда в период навигации с мая по декабрь – на смену прежним, умершим от тифа, холода, нечеловеческого напряжения и чекистской пули.

Как это всегда бывает, даже в лагере тяжело работали далеко не все. Вполне терпимой была жизнь у лагерной обслуги, всяких там пожарников, парикмахеров, банщиков, дезинфекторов и иных любителей бластных должностей. Не сильно утруждались артисты, музыканты, и прочие служители муз, которых администрация охотно освобождала от общих работ, потому что петь бельканто или играть на театре после двенадцати часов каторжных работ было бы затруднительно даже солисту Большого театра. Хочешь изящных зрелищ, гражданин начальник? Изволь, освободи артиста от работы – бессмысленной и беспощадной.

До последнего времени довольно ловко увиливали от производительного труда уголовники, которым работать не позволяла воровская гордость – не затем они чурались работы на воле, чтобы рвать пуп в лагере. Правда, лагерь решили перевести на самокупаемость, так что напрягли и рецидивистов: вкалывайте, социально близкие⁸, если не хотите получить пулю в лоб или отправиться в штрафной изолятор на Секирной горе – тоже верная дорога на тот свет, только более мучительная и извилистая.

Таким образом, нынешний СЛОН являл собой коммунистический идеал, где каждая тварь обязана была что-то делать. В том числе, конечно, это касалось и охраны в лице Соловецкого особого полка войск ОГПУ и даже людей из администрации – вплоть до начальника лагеря Александра Петровича Ногтева.

Единственное исключение из пролетарского правила «кто не работает – тот не ест» составляли политические. Эти не работали ни при каких обстоятельствах. У них и зона проживания была отдельная – Савватиевский скит, и условия совсем иные, чем у всего остального лагеря.

Говоря «политические», нужно уточнить, что речь шла о всякого рода анархистах, эсерах, бундовцах, меньшевиках и прочих социалистах, которые совсем недавно вместе с большевиками упоенно рушили Российскую империю, чтобы построить на ее месте вечное царство справедливости. Теперь же, разрушив все до основания, неожиданно для себя оказались они отнюдь не у кормила власти, а в Соловецком лагере особого назначения, который, как полагали многие здешние жители, был просто филиалом ада на земле.

Однако, как известно, и в аду есть разные круги. Есть, например, круг первый, более похожий на чистилище. Там людей обуревают грусть, печаль и сожаления о неподходящем устройстве мира, но, по крайней мере, нет там мрака и скрежета зубовного, и из обращения изъяты телесные муки. Именно в этом щадящем круге и жили политические.

⁸ В первые годы советской власти каэров считали «социально чуждыми», практически не поддающимися перевоспитанию, в отличие от других слоев осужденных, которых называли «социально близкими». К социально близким относились и уголовники.

Совсем в другой, прямо противоположной части ада жили так называемые контрреволюционеры или, попросту, каэры. Здесь их подвергали нечеловеческим мучениям – но отнюдь не черти, а такие же с виду люди, как и сами каэры.

Но, может быть, контрики просто получали здесь по заслугам? Увы, нет. Справедливости ради заметим, что настоящих контрреволюционеров среди каэров надо было искать днем с огнем. С некоторыми оговорками сюда подходили только бывшие белогвардейцы и духовенство, которое, как известно, ищет спасения не в классовой борьбе, а в абстрактных разговорах о Царствии небесном и сыне Божьем, он же, по вящему их убеждению, есть путь, истина и жизнь.

Однако, помимо указанных зловредных категорий, в каэры записывали также мужиков, заподозренных в антипатии к советской власти, любых почти дворян, молодежь, которая танцевала растленные западные танцы вроде фокстрота, отставных царских чиновников и вельмож, иностранных граждан, в том числе и коммунистов, не в добрый час подвернувшихся под руку ОГПУ, профессоров и студентов, бывших финансистов и денщиков – и так далее, и тому подобное, без конца.

Каэры были самой многочисленной и самой уязвимой кастой соловецкого лагеря. Не удивительно, что именно каэров больше всего оказывалось в трюмах пароходов и барж, которые по весне доставляли новую партию заключенных на Соловецкие острова.

Поздней осенью и зимой связь между островами и материком прерывалась и восстанавливалась только весной, когда подтаивали льды. Именно поэтому весна здесь начинала свой отсчет не по календарю, а с того момента, как к пристани причаливал борт с заключенными. Был ли это «Глеб Бокий», «Клара Цеткин», «Печора» или какой-то другой пароход, неизменным оставалось одно – доставленные на нем осужденные шли на муки, рядом с которыми бледнели жития первых христиан.

Как раз сегодня из Кемского пересыльно-распределительного лагеря, называемого для простоты Кемперпунктом, прибывала очередная партия заключенных. Для уголовников, именуемых здесь просто шпаной, эта партия была даром небес. Новые заключенные, в первую очередь, конечно, каэры, оказывались дойной коровой рецидивистов. Все, что, могло быть отнято, и что не отобрала до того воровская братва на Кемперпункте, отнималось по прибытии на Соловки.

Особенно ждал нынешнего этапа щипач⁹ Сергей Точеный по кличке Шило. Накануне он проигрался в карты буквально до подштаников, которые были у него такие ветхие и дырявые, что больше оголяли, чем скрывали. Даже в сортир Шило ходил в штанах, которые брал взаймы у других уголовников, у которых штанов было больше одной пары.

Теоретически, штаны можно было взять и у кореша Борьки Корнелюка по кличке Кит. Крупный медлительный украинец чудовищной силы, грабитель по воровской специальности, был он при этом человеком вполне добродушным. Силу в ход Кит пускал редко, потому что видя его, любой клиент немедленно делал в штаны и сам, по собственной воле, отдавал все до последней нитки. Однако взять у Кита штаны Шило не мог – он бы просто утонул в них, как в мешке.

Внешне, да и по сути Шило представлял собой полную противоположность Киту. Это был мелкий вертлявый истерик, готовый не задумываясь пустить в дело шабер¹⁰. Как и почему сошлись вместе два столь разных человека, сказать было трудно. Возможно, тут сыграл свою роль диалектический закон единства и борьбы противоположностей, возможно, просто взаимная выгода. В этой загадочной паре Шило играл роль мозгового и волевого центра, Кит же воплощал собой грубую физическую силу.

⁹ Щипач (*жарг.*) – карманный вор.

¹⁰ Шабер (*жарг.*) – нож.

Впрочем, Кит не был чужд и своеобразного юмора, чем иногда пользовался Шило, желая повеселить братву.

– Кит, расскажи анекдот, – требовал он, когда братва усаживалась в кружок и пускала по кругу кружку с крепчайшим чаем, называемым тут чифирем.

– Та якый там анекдот... – смущался Кит, пожимая невероятными своими плечами.

– Про львовского еврея, как он вешался, – говорил Шило, заранее хихикая.

– Та усї и так знають.

– Ничего, – говорил Шило, – в прошлый раз не все слышали.

Кит важно сморкался через левую ноздрю и начинал повествование, хитро поглядывая маленькими глазками на окружившую его братву.

– Львівський єврей розорівся, – говорил он на очаровательной смеси русского и украинского, именуемой в просторечии суржилом. – Дийшов до жыття такой, що хоч вишайся. Ну, пишов у лис – вишайся. Обкрутив веревку вокруг сраки – высыйть. Идэ селянын. «Ты що робыш?» – «Та вишаюсь...». – «Хибá ж так вишаються?» – «А як трэба?» – «За шийю». – «Та за шийю пробував – так дыхаты нэ мóжно...»

Братва одобрительного гоготала, поощряя Кита на новые смеховые подвиги.

Однако смех смехом, но, как учит нас марксизм, бытие определяет сознание, а не наоборот. В переводе на нормальный язык это значило, что сколько не смейся, новых штанов не высмеешь. Вот потому и ждал Шило новый этап с таким нетерпением. И, надо сказать, дождался.

Пароход «Глеб Бокий», названный в честь главного покровителя Соловецкого лагеря, чекиста Глеба Ивановича Бокия, в этот раз, как и обычно, привез сразу сотни новых заключенных. На Монастырской пристани их лично должен был встречать начальник лагеря Александр Петрович Ногтев.

Народная мудрость гласит, что обычного сатану видать издалека – на нем рога, при нем копыта и хвост. Однако Александр Петрович был не так прост. Истомленный взгляд юродивого и опухшее от пьянства лицо его не предвещали на первый взгляд ничего слишком уж отвратительного. Но первое впечатление всегда оказывалось ошибочным.

Так случилось и в этот раз. Напуганных, усталых заключенных выстроили на пристани, перед ними явился Ногтев. Но как явился! Сначала заволновался и устремил все взоры в сторону моря конвой, потом и осужденные, заинтригованные, стали косить глазами туда же. Вдали на серых волнах замигал стремительный силуэт быстроходного катера, который задрал нос в воздух и пустив по бокам два пенных уса, за какую-то минуту преодолел расстояние почти в километр и лихо пришвартовался у пристани. Катер выглядел необычно – вместо водяного винта стоял у него на палубе огромный воздушный винт, разгонявший это техническое чудо до невиданных скоростей.

С борта за землю ловко и даже как-то элегантно перепрыгнул начальник лагеря. Спустя минуту он уже стоял перед строем заключенных. Руки его были засунуты в карманы франтовой куртки из тюленьей кожи, форменная фуражка, как у шпаны, надвинута на глаза. Некоторое время он с кривой ухмылкой осматривал новоприбывших, потом добродушно заговорил.

– Грачи прилетели, весна началась... Здорово, граждане уголовники, босяки и контрреволюционеры!

Кто-то из строя попытался пискнуть слабое приветствие в ответ, но, напуганный общим молчанием, тут же и заткнулся.

– Правила и законы, по которым жили на материке, не вспоминайте, – мягко говорит Ногтев, поглядывая из-под фуражки на заключенных. – Надо вам теперь знать, что у нас здесь власть не советская, а соловецкая! Про качать права и иное прочее можете просто забыть. Тут – свой порядок. Жизнь ваша целиком и полностью от администрации зависит. Что это значит на практике? На практике это значит, что без дозволения и шагу ступить не могли.

– Что же – и пукнуть без разрешения нельзя? – весело спросил какой-то молодой уголовник, стоявший рядом с тощим бородатым стариком в высоком картузе. Старичок покосился на него осуждающе и даже немного подвинулся в сторону, как бы говоря: это не со мной.

Ногтев улыбнулся и подошел к дерзкому шпаненку поближе.

– Пукнуть можно, – сказал он весело. – Но один раз.

– Это как? – спросил вор, еще не чуя опасности.

– А вот так, – отвечал Ногтев и, вытащив револьвер, без лишних слов разрядил его прямо в лоб уголовнику.

Тот упал, из дырки во лбу выступило что-то мутное, мертвые глаза слепо глядели в серые низкие небеса. Осужденные ахнули и попятились, сминая строй. Только стоявший рядом старик не двинулся с места, глядел себе под ноги, очевидно, боясь поднять глаза на убийцу. К телу подскочили два красноармейца, сноровисто поволокли его прочь.

– Вот так, граждане грачи, будет со всяким социально опасным элементом, злостно нарушающим лагерный режим, – назидательно сказал Ногтев и пошел прочь.

После переключки новую партию погнали в развалины Преображенского собора.

Тут надо сказать, что все заключенные Соловков делились на пятнадцать рот – по социальному составу и видам работ. Так, в первых трех ротах числились особо ценные специалисты и администраторы из числа заключенных, например, осужденные чекисты. Быт в этих ротах был налажен куда лучше, чем в целом по лагерю. В светлых, теплых кельях размещались от двух до шести человек в каждой. Спали они на монашеских койках или топчанах, ели в отдельной столовой. Поверками их не утруждали, и вход в эти роты уголовникам был строго-настрого заказан. В каждой из рот размещалось от ста до ста пятидесяти человек.

В пятой и седьмой ротах жили музыканты, артисты и лагерная обслуга. В шестой роте располагалась внутренняя охрана из числа уголовников и лица духовного звания.

Восьмая рота оказалась, можно сказать, штрафной. Режим там был строгий – роту выстраивали и на развод, и на проверки. Насельников восьмой роты обычно посылали на всякие грязные хозяйственные работы – тут жила шпана «на подозрении». Подозрение означало, что уголовников здешних еще не поймали за руку на воровстве, злостном нарушении режима и дерзком отношении к начальству, но в благонадежности ее были сильные сомнения. Отсюда публика часто отправлялась в карцер одиннадцатой роты, а то и прямо на Секирку¹¹.

В девятой роте подвизались осужденные хозяйственные и партийные работники. Десятая называлась счетно-канцелярской. В одиннадцатой и двенадцатой – опять же, содержались шпана и рецидивисты.

Последние три роты – тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая – считались самыми тяжелыми. Располагались они даже не в бараках, а в развалинах Преображенского, Николаевского и Успенского соборов, холодных, темных и грязных. Попадали сюда разные заключенные, но бал тут неизменно правили уголовники. Через три этих роты проходили все новоприбывшие, которых в обязательном порядке кидали на самые тяжелые общие работы.

Передвижение по лагерной зоне в те годы было сравнительно свободным, исключая, пожалуй, насельников «подозрительной» восьмой роты и так называемого женбарака, который был отделен от общей, мужской, части колючей проволокой во избежание любых контактов с мужчинами-заключенными. Некоторая вольница в передвижении по лагерю объяснялась просто – многие заключенные подвизались на внутренних работах, должны были постоянно перемещаться по лагерю с места на место, а стрелков-красноармейцев на всех не наберешься. Охрана сопровождала в основном осужденных, занятых на общих работах за пределами лагеря.

¹¹ На Секирку – то есть в штрафной изолятор на Секирной горе.

В этот раз в Преображенский собор вместе со старожилами пригнали и новую партию заключенных. Подавляющее большинство было облачено в какие-то лохмотья – их собственную одежду сняли с них уголовники еще на Кемперпункте.

Шило опытным взглядом выцелил в толпе прибывших худого бородатого старика. Каким-то чудом тому удалось избежать хищной заботы шпаны в Кемском пересыльном лагере, и в СЛОН он прибыл одетый во вполне приличную теплую синюю куртку, песочного цвета пиджак и серую шерстяную фуфайку под ним. Ноги его облекали плотные твидовые брюки, из-под которых выглядывали крепкие зимние ботинки.

Рассудив, что старик никуда не денется, щипач сосредоточил внимание на тепло одетом чухоточном юноше. Снять с него полушубок и штаны оказалось делом двух минут.

– Мне нельзя без теплой одежды, – говорил парень тающим голосом, – у меня слабые легкие.

Но на слова его никто не обратил никакого внимания – дали леца и загнали под нары.

Дошла, наконец, очередь и до бородатого старика в куртке и пиджаке. Не успел он устроиться на новом месте, как возле его нар тут же, словно из воздуха, соткался щипач Шило. За спиной корешка маячил Кит, являя собой разновидность русского слона, которым, как известно, уступают в добродетели даже слоны африканские. Его толстое лицо казалось равнодушным, но в маленьких карих глазках поблескивала угроза.

– Слышь, дедок, ты по какой статье землю топчешь? – поигрывая финкой, поинтересовался Шило.

– По какой ни топчу – все мое, – смиренно отвечал экстравагантный старец.

Шпана, наблюдавшая за разговором, оценила меткий ответ, многие повернулись, предчувствуя спектакль.

– Спинжак у тебя козырной, – продолжал Шило. – Ни к чему он тебе, старинушка, отдай добрым людям, а мы за тебя помолимся – за здоровье твое, да жизнь долгую.

В словах этих звучала явная угроза. Но то ли старинушка ее не понял, то ли был не из пугливых.

– Не могу я без пиджака, – отвечал он, борода его упрямо вздернулась вверх. – А ну как высокая комиссия с материка явится, а я в одной куртке, как босяк. Вышестоящие товарищи огорчатся.

Кто-то хохотнул, но его не поддержали. Атмосфера явственно накалялась. До сего дня уголовникам тут не перечили, а тех, кто лез в амбицию, быстро и больно окорачивали – иной раз до смерти. Шпана глядела на происходящее с глумливым любопытством, остальные – со страхом. Судьба упрямого старика казалась решенной. Однако ни Шило, ни Кит не спешили проливать кровь – неизвестно, как к этому начальство отнесется. Вдруг да взбунтуют, могут и на Секирную гору отправить, в штрафной, то есть изолятор.

– Ты, бес, все равно одной ногой в могиле стоишь, – заметил Шило. – О душе пора подумать, а он за спинжак цепляется.

– Кто где стоит, об этом только в небесной канцелярии знают, – отвечал упрямый бородач.

Столпившиеся вокруг урки внезапно разглядели, что не такой уж он и дед. Тело, хоть и худое, но не по-старчески крепкое, глаза полны энергии, а черные брови делают его моложе лет на десять. Вдруг стало ясно, что перед ними человек бывалый и даже, может быть, опасный.

Однако отступать Шилу не хотелось – во-первых, перед братвой неловко, во-вторых, одежда уж больно была хороша. Не тратя больше времени на уговоры, щипач мгновенным, невидимым глазу движением полоснул старика по лицу – не смертельно полоснул, поверху, так только, чтобы юшку пустить да в ум ввести.

Но борзый старик оказался ухарем. Не моргнув глазом, он чуть отклонился, а когда нож стал возвращаться, перехватил руку и легко, без усилия, вынул из нее финку. Шило стоял

теперь с пустыми руками и открытым ртом, а воровской шабер медленно вращался между пальцами у противника.

– Кит, – нехорошим голосом произнес Шило.

Кит секунду молчал, глядя на вращающийся нож, потом сказал с неожиданной робостью.

– Может, ну его в пень? Попишет, как пить дать.

– Не попишет, он фраер, – отвечал Шило.

Кит со скоростью, удивительной в такой гигантской туше, кинулся на врага, но сделать ничего не успел. Шило оказался прав, ножом старик не размахивал. Однако очень быстро и ловко поднырнул под бьющую руку и сам как-то коротко и ловко хлестнул уркагана по шее. Кит секунду стоял, словно зачарованный, потом медленно, как осыпающаяся гора, повалился на заплыванный ледяной пол.

Шпана повскакала с нар и в один миг обступила строптивца. На него глядели горящие злобой глаза, скалились щербатые рты, выплевывая грязную брань. Толпа в несколько десятков человек окружила старика, каждый был чем-то вооружен – ножом, кастетом, заточкой. Шансов у старого волка не было никаких. Ясно было, что воры, как дикие звери, готовы жизни отдать, лишь бы выпиться врагу в горло. Страшный их круг не стоял на месте, он медленно, но неотвратимо сужался вокруг обреченного. Новобранцы глядели на происходящее с ужасом, старожилы – равнодушно. Они видели не одну такую смерть, для них тут ничего особенного не было.

– Стой, братва! – вдруг сказал старик звучным сильным голосом. – Нехорошо получается. Против правды идете, против веры воровской.

Таких слов от фраера никто не ждал. Уголовники на миг застыли в недоумении.

– А ты кто такой, что к тебе правду соблюдать? – наконец спросил авторитетного вида седоватый вор по кличке Камыш. – Ты простой фраер, воровская вера не про тебя писана.

– Я не фраер, – отвечал бородач. – Я фармазон, зовусь Василий Громов. Толкал рыжевые и сверкальцы. Фарт кончился, взяло меня ГПУ, тройка выписала десять лет, отправила на Соловки.

– Сколько ходок у тебя? – недоверчиво поинтересовался Шило.

– Ни одной, – отвечал Громов. – До семнадцатого года был я битый фраер, учитель французского языка, потом с голодухи пошел в фармазоны.

– Что-то ты поздновато масть сменил, – заметил Камыш.

– А куда деваться? – пожал плечами Громов. – Голод, сами знаете, не тетка и не двоюродная бабушка.

Уголовный народ, любящий острое словцо, засмеялся.

– Так чего ж ты хочешь? – спросил Камыш, немного смягчая.

– Вопрос не в том, чего я хочу, вопрос – чего вы хотите, – откровенно отвечал загадочный Громов. – Нравится пиджак – я разве против? Только отнимать не надо, нехорошо это, не по-божески.

– А как по-божески? – спросил Шило, нехорошо щерясь.

– А по-божески так: есть у тебя какое добро против моего?

Урки разочарованно заулюлюкали.

– Ты, дед, фуфло толкаешь, – грубо отвечал Шило. – Ну, имеется у меня полушубок, вон только что со студента снял, – и он показал на чахоточного юношу. – Но ты тут при чем? Неужели думаешь, я свой полушубок на твой спинжак менять буду?

Громов пожал плечами: зачем менять – сыграть можно. Он ставит пиджак, Шило – полушубок. Щипач покачал головой – полушубок против пиджака не пойдет, слишком маленькая ставка. Громов обещал добавить еще куртку и шерстяную фуфайку.

– И ботинки, – алчно сказал Шило.

– Может, тебе еще подштанники мои поставить? – улыбнулся старик.

– Да пошел ты!

– А чего, – не отставал Громов, – нюхны – хорошие!

Под радостный гогот шпаны раздали карты. Играли в буру. Игра шла упорная, видно было, что Шило в картах поднаторел. Вдобавок уголовная братва всячески пыталась помогать Шилу и мешала фармазону. Но Громов в карточной игре был явно не новичок, так что в конце концов роббер пришел именно ему.

Враз погрузневший Шило отдал полушубок Громову. Фармазон поискал глазами студента, подозвал его и торжественно надел полушубок тому на плечи. Тот заплакал от счастья и жарко пожал благодетелю руки.

– Ха, – развеселился Шило, – локш ты потянешь¹², фармазон! Я же с него эту шерсть снова состригу!

– Не имеешь права, – отвечал Громов строго, – полушубок выигранный и подаренный, отнимать нельзя.

Огорченный Шило куда-то исчез, за ним ушел и Кит. Урки глядели на фармазона с интересом.

– Не гнилой дедок, – слышались возгласы, – свой в доску!

Вскоре принесли обед. Распределением еды занимались тоже уголовники, так что обычным заключенным суп достался пустой, без трески, с одними разваренными овощами. Однако Громову, которого уже считали за своего, налили щедро, в два раз гуще против положенной пайки.

После обеда всех поделили на бригады и отправили в наряд или, как это называлось тут, урбк. Нужно было валить лес, пилить его и сдавать кубами учетчику.

Василий Громов попал в бригаду с тремя урками. Старший, уже знакомый фармазону Камыш, пока они шли к лесу, ввел его в курс дела.

– С каждого кореша за день куб леса надо сдать, – говорил он. – Не сдашь – пайки не получишь. Так что совсем не работать нельзя. Но мы тут вот что придумали. Сдаем куб, десятник его отмечает, а потом тот же куб сдаем как новый. И так несколько раз, чтобы норму выполнить. При таком хитром подходе выходит намного легче.

– И не ловили вас? – покачал головой Василий.

– Кто нас поймает, мы же урки...

Однако, как говорят, и на старуху бывает проруха. Когда они явились к десятнику, им было объявлено, что отныне на каждом сданном кубе древесины будет ставиться клеймо, вроде печати – на спиле бревна. Таким образом, один и тот же лес уже не получится сдавать несколько раз.

– Хорошенькое дело, – озаботился Камыш, – и чего теперь?

– Теперь, урки, будете работать честно, – отвечал десятник.

Простодушные эти слова вызвали гогот у всей воровской шайки. Однако смех быстро стих и сменился озабоченностью.

– Ко псам! – раздраженно говорил Яшка-Цыган, кося черным лошадиным глазом. – Неужели же корячиться будем, как фраеры безответные?

– Баланду травишь, ботало¹³ прибери, – оборвал его Камыш, – чтобы урки – да корячились на дядю Глеба?¹⁴ Чего-нибудь да придумается.

Однако сходу ничего не придумалось, так что приходилось честно таскать на горбу лес и пилить его в удобные для учета кубы. Громов работал наравне со всеми и, несмотря на воз-

¹² Локш потянешь (*жарг.*) – останешься ни с чем, ничего не получишь.

¹³ Ботало (*жарг.*) – язык.

¹⁴ Дядя Глеб, то есть Глеб Боккий – куратор Соловецкого лагеря особого назначения.

раст, совсем как будто не уставал. Однако работа эта ему явно нравилась не больше, чем его уголовным корешам.

– А я думал, уголовные вообще не работают, – заметил Громов в короткий перекур. Шпана смолила сигарки, сам Громов от курева отказался, массировал мышцы – чтобы, как сам сказал, на завтра не болели.

– Это на материке, – отвечал третий блатной, имени которого несколько тугоухий фармазон не расслышал. На голове у него несколько косо сидела старая буденновка, невесть какими путями к нему попавшая. – Здесь попробуй откажись – могут и на Секирку послать, и в шестнадцатую роту определить.

Громов заинтересовался: что за шестнадцатая рота?

– Всего рот в лагере пятнадцать, а шестнадцатая, стало быть, выходит кладбище, – сказал безымянный. – Прижмуришься, как сегодняшний баламут, вот и погонят в шестнадцатую роту.

– А Секирка что такое?

– Секирка – это амбар, изолятор, – объяснил Цыган. – Смертельный номер, промежду прочим, парад-алле, многие оттуда вперед ногами выходят, а иные с ума спрыгивают.

– Н-да, – негромко пробормотал старый фармазон, – как говорится, не дай мне Бог сойти с ума... Нет, легче посох и сума...

– И посох тебе тут обеспечат, и суму и тюрьму, – отвечал Камыш и сплюнул на влажную, отмеченную снежными проплешинами землю.

Если бы не работа и не комары, вставшие на крыло с приходом весны, местную суровую природу можно было бы счесть почти идиллической – море, лес, чистый до прозрачности воздух, напоенный хвойным духом, огромные, в рост человека камни... Чем-то первобытным и в то же время величественным веяло от здешних мест. Становилось ясно, почему именно здесь пятьсот лет назад попечением святителя Филиппа воздвигнут был Соловецкий монастырь.

– Попы говорят, что Христос тут недалеко, – откровенничал Камыш. – А я чего-то не верю. Был бы тут Христос рядом, разве попустил бы такому зверству случиться? Кто только эти лагеря придумал, какой пес?

– Разные на этот счет есть мнения, – неожиданно отвечал Громов. – Одни считают, что англичане – во время Англо-бурской войны. Другие – что американцы во время Гражданской войны в США.

– А нам-то они на кой черт сдались?

– Чтобы от прогресса не отставать, – хмуро сказал старый фармазон. – Если какую гадость сами выдумать не можем – у других позаимствуем... Как говорил товарищ Ленин: учиться, учиться и еще раз учиться.

Между делом Громов поинтересовался, сколько в лагере длится рабочий день. Камыш отвечал, что день тут длится столько, сколько хозяин велит. По правилам – двенадцать часов, но обычно больше – и тринадцать, и четырнадцать...

– Короче, для нас Ногтеву ничего не жалко, – оскалил зубы Яшка-Цыган. – Хоть круглыми сутками гонять будут, пока кишками наружу не изойдем.

– До кишок наружу работать – вопрос не интересный, – задумчиво заметил старый фармазон.

Камыш согласился: о том и речь! Дело ведь не в трудовой норме, а в том, чтобы осужденные слишком долго тут не задерживались, быстрее места освобождали. А как освободить место, если, скажем, человеку пятнадцать лет выписали? Один способ – в шестнадцатую роту его спровадить.

Во время очередного перекура Василий Громов поделился своими соображениями с братвой.

– Я вот что подумал, – негромко сказал он. – Клеймо на кубах – это, конечно, неприятно. Но кто мешает его стесать?

– Как срезать? – не понял безымянный урка.

– Шабером, – терпеливо отвечал Громов. – Ну, или топориком. Чик – и нету. И можно опять сдавать, как новый.

Цыган посмотрел на него с восхищением: а у тебя, фармазон, мозги не из ваты сделаны! Верно маракуешь, глядишь, братве и впрямь послабление выйдет. Камыш кивнул: ничего себе идея. Неизвестно, какое там выйдет послабление, но попробовать не мешает.

Теперь оставалось только отвлечь охрану, пока они будут срезать штампы, но это ловкий Цыган взял на себя. Был ли он натуральным ромалом¹⁵, или это только прозвище было такое, но обаяние имел нечеловеческое – на трех цыган хватило бы. Завести разговор, угоститься за чужой счет папироской, да хоть хором «Интернационал» попеть – все это было к Яшке-Цыгану. О своем обаянии он знал и умело им пользоваться – часто в не совсем гуманных целях. Но никто его не упрекал – есть у человека талант, так почему бы не пользоваться?

Благодаря новой технологии работали они теперь гораздо меньше, а если уж быть совсем откровенным, просто били баклуши во всю мочь. Поэтому до конца дня совершенно не устали.

Вечером, как и прочие заключенные, вернулись в собор. Опять уголовники разнесли еду, или, как здесь говорили, шамбву. Пошамав, старый фармазон завел разговор с Яшкой-Цыганом: он хотел уяснить внутреннее устройство лагеря.

– Да какое там устройство, одна мура, – мрачно отвечал Цыган. – За что боролись? За уничтожение эксплуататорского класса. Что имеем? Тот же самый класс, только вид сбоку. Раньше нас буржуи с дворянами по камере гоняли, теперь – ГПУ. У нас тут такие классы – царизму не снилось. Во-первых, администрация...

Он стал загибать пальцы, словно боялся, что кого-то забудет. Начальника лагеря Ногтева Громов уже видел. Этот просто псих, у него семь пятниц на неделе – то застрелит кого мимоходом, то всех от работ освободит. Пропойца, но в гневе страшен. Как напьется, непременно начинает палить по заключенным. Стреляет метко, даже когда выпивши. Так что увидишь, Гром, пьяного Ногтева – беги куда глаза глядят.

Есть еще его заместитель Эйхманс, тот из чухны. Хлебом не корми – только дай, чтоб перед ним строем прошли, да еще и печатая шаг. Человек не то, чтобы сильно злой, но какой-то деревянный и вовсе бесчувственный. Все у него должно быть по правилам, по уставу. А не будет по уставу – волком взвоешь.

– Все, в общем, крокодилы, – откровенничал Цыган. – Но из верхних самый злой – начальник административной части Васьков. Он вам по прибытии перекличку устраивал, помнишь такого?

Фармазон вспомнил плотно сбитого человека без лба и шеи, с тяжелой небритой нижней челюстью и отвисшей губой. В лоснящихся щеках его прятались маленькие подслеповатые глазки, пронзительно глядевшие на новых осужденных. От взгляда этого стыла кровь даже в воровских жилах.

¹⁵ Ромалы, рома – самоназвание цыган.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.